

ОЛЕГ Н. ТРУБАЧЕВ  
(Москва)

## ИЗ ИСТОРИИ И ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ГЕОГРАФИИ ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ

„Много ли мы знали, например, в начале нашего века о субстратной и ареальной лингвистике?“

В. И. Абаев. *Избранные труды*. Т. II, с. 115

Не стало Павла Ивича... К этим словам трудно привыкнуть — нам, мне. Лично я был знаком с ним с 1965 года (хотя не исключены и более ранние мимолетные встречи, например, 1958 года в Москве, на съезде славистов). Это была моя научная командировка в Югославию, я написал Павлу Ивичу письмо и был приглашен в Новый Сад. Я в гостях дома у Милки и Павла Ивичей, теплая обстановка, за стеной слышится музыка. Г-жа Милка объясняет: «Син се вежба на гитари». Тогдашние беседы запомнились, памятны и все позднейшие встречи. Мои приезды в Югославию всегда были поводом для встреч с Павле Ивичем, общение с которым всегда было ценно для меня и человечески приятно: эта свойственная ему мягкая манера общения, внимательность, добрые слова, неразрывно связанные с сознанием, что ты говоришь с авторитетом славистики Старого и Нового света. Последние встречи были уже в октябре 1998 года, когда Югославия жила тревогами ожидания; мы были вместе с Галиной Александровной, видели страну накануне страшной агрессии, виделись с Павле Ивичем, гуляли по Белграду. Как обычно бывает, верилось в хорошее, в то, что самого страшного удастся избежать. Не удалось... Павле Ивич никогда не выглядел старым и больным. Как знать, может быть, его тоже надломила эта воздушная война.

Он был внимателен ко всему — и к этимологическим и к этногенетическим исследованиям, которыми жил я. Но мне захотелось почтить его память некоторыми проблемами лингвистической географии и диалектологии, наиболее близкой его сердцу.

\* \* \*

Племя вятичей, начавшее селиться во второй половине I тысячелетия в приокских краях, оказалось сравнительно неподалеку от Киева, на северо-восток, облюбовав редконаселенные земли. Скорее

всего, этими местами несколько раньше прошли дальше на север будущие новгородские словены. Сами же вятичи вскоре приступили к освоению больших пространств к востоку и юго-востоку. Так, включая ранее освоенные Запад и Юго-Запад, постепенно организовалось восточнославянское этническое и языковое пространство, ареал. Его нормальное функционирование неизбежно выражалось в едином этническом самосознании (достаточно раскрыть начальную русскую летопись, чтобы почувствовать его реальное наличие: «а славянское и русское одно есть»). Лингвистической ипостасью единого этнического самосознания обязательно должен был быть относительно единый (дописьменный и долитературный) наддиалект. Само понятие и название наддиалекта говорит, что он суммирует некую подпитывающую его сложность местных диалектов. Поводом для обсуждения этой сложности (*vice versa* этого единства) послужило состояние этих вопросов в нашей науке последних десятилетий, где накопилось много неясности и даже тупиковых состояний, начать хотя бы с обсуждения вопроса об общенародном нелитературном языке, отмечая при этом готовность (пусть временами не очень четко выраженную) обсуждать его у некоторых авторов, наряду с явным отсутствием интереса к проблеме — у других. Кажется очевидным, что названный выше наддиалект, или общенародный нелитературный язык, он же — «устный литературный язык» — это универсалия, нормальная функция множества низовых диалектов, подтверждаемая ближними и дальними параллелями, лишь усиливающими впечатление серьезности проблемы, ср., с одной стороны ссылку на устный литературный язык якутских народных сказителей (Убрятова в [Бородин 1968: 117]), а с другой стороны — и это самое важное для нас — отголоски дискуссии в нашей науке в сущности о том же: «Нельзя согласиться с положением Р. И. Аванесова, будто бы русского языка вне пределов литературного языка не существует» [Филин 1972: 69]. Действительно, в нашей диалектологии популярно оперирование не вполне ясными категориями «диалектного языка» и «системы систем», при крайне слабом интересе именно к наддиалекту или «наддиалектному койне» [Трубачев 1998: 4]. Хотя было бы несправедливо утверждать, что близкие к проблеме факты вовсе не попадали в поле зрения исследователей конкретного материала. Ср., например, одно из сделанных вскользь замечаний о наличии «в русском диалектном языке» (?) «общих элементов» синтаксиса, употребляющихся «во всех говорах» [Русская диалектология 1964: 173]. И таких замечаний, наблюдений найдется немало, впрочем, возможно, при более или менее ошутимом отсутствии сознания необходимости сделать следую-

ший шаг — я имею в виду обобщение о наддиалекте. Сюда, несомненно, относятся пытливые, хотя порой и вскользь высказанные мысли С. И. Коткова — о широком просторечии (в работе об орловских диалектах), об общенародности языка старого эпистолярного наследия, против популярного заключения Лудольфа 1696 года о том, что у нас говорили по-русски, а писали будто бы только по-церковнославянски [Котков 1980: 36].

Несколько забегая вперед и в интересах, как кажется, правильного понимания существующего положения, многое (если не все) определялось у нас унаследованными еще от Шахматова представлениями, согласно которым идея койне не шла дальше мыслей о городском говоре, например, Киева [Шахматов 1916: 80], общеязыковая материя сводилась к неисчислимому множеству «индивидуальных языков», а общевеликорусский язык, как и общевеликорусская народность признавались «фикцией», во всяком случае — поздней реальностью. Мы будем к этому возвращаться еще ниже, но, повторяем, для правильного понимания это важно отметить уже с самого начала.

Итак, речь должна идти в немалой степени о мире идей и научных построений Шахматова. Академик Алексей Александрович Шахматов, безусловно, — центральная фигура в науке о русском языке и его истории, как, впрочем, и в собственно русской истории. Его авторитет, его научное влияние, объем сделанного им за непродолжительную, примерно полувекую, жизнь не имеют себе равных. И сейчас, перечитывая труды Шахматова, неизбежно испытываешь очарование силы ума и удивление перед огромностью знаний. Непродолжительная жизнь этого замечательного ученого и не менее замечательного человека окончилась в 1920 году, как раз в то время, или в канун времени, когда в европейской лингвистике еще только намечалось начало лингвистической географии — системы научных понятий, в корне повлиявших на широкие области исследования языка. Конечно, со своей стороны, до известной степени тормозящее воздействие имело, как кажется, излишне последовательное соблюдение Шахматовым принципов лингвистической школы своего учителя, Ф. Ф. Фортунатова, и критика не преминула отметить это: явно избыточный перенос в праязыковую реконструкцию многих звуков позднего и местного образования, преувеличение фактора «смещения» языков и диалектов, а также переоценка индивидуальноеязыкового за счет общеязыкового (см. отчасти [Lehr-Splawiński 1921–1957, *passim*]). Но самым крупным несоответствием или даже трагизмом видится сейчас то, что рано умерший Шахматов по не зависящему от него стечению обстоятельств буквально всего на несколько лет «разо-

шелся» по времени с подъемом лингвистической географии, который развернулся в романских и германских странах. Результаты, к сожалению, не замедлили сказаться, и сейчас многое по известным причинам видится иначе. Многие, в том числе принципиальные, построения и выводы Шахматова о русском языковом развитии звучат проблематично, не отвечают возможностям современной науки и нуждаются в иной переформулировке, иной точке отсчета. Повторяю: в наметившемся разночтении меньше всего можно винить самого Шахматова. С ним закончилась славная эпоха, оставившая замечательные исследования и добротные собрания материалов, эпоха до лингвистической географии. Труднее понять последующие поколения ученых, которые, исследуя русский языковой материал, продолжали почти всецело идти за Шахматовым. Сложилась необычная ситуация, о которой надо говорить, тем более, что до сих пор этого не сделали. Парадоксально то, что критика трудов Шахматова вроде имела место неоднократно, в том числе и в наше умудренное и проинформированное время. Удивляет же то, что и у видных критиков Шахматова мы практически не находим систематических попыток нового прочтения шахматовской истории и диалектологии русского языка. Должен оговориться, что дело отнюдь не в недостатке или отсутствии термина «лингвистическая география». Скорее уместно иметь в виду дефицит осмысленного применения самих понятий, в том числе главных из них: центр–периферия–ареал. Этим занимается лингвистическая география, см. например удобный обзорный очерк [Бородина 1968: 106 и сл.]: лингвистическая география не сводится к картографированию, будучи **сугубо исторической наукой**, а значит, это не составление атласов, а их интерпретация, использующая понятия ареала, изоглоссы, очага распространения и такой критерий, как **обращенность в прошлое**. Будучи специалистом по романским языкам, Бородина довольно осторожна в оценке русской диалектологии, не решив для себя окончательно вопроса, имеем ли мы здесь перед собой опыт лингвогеографической работы или лишь подготовку к последней.

Чтобы не быть голословным, назовем весьма характерные, классические труды этого направления, как например «Патология и терапия слов. Исследования по лингвистической географии» (I–III, 1915–1921) Ж. Жильерона, «География слов верхненемецкого обиходного языка» П. Кречмера (1918).

Могу также поделиться собственным ранним опытом лингвогеографического изучения славянско-неславянских интерференций в области обозначения понятия 'ни один', довольно характерных сла-

вянских периферийных образований вроде ст.-чеш. *nižádný*, ст.-польск. *niżadny* (\**ni-že-jedънь*), в конечном счете ареальное новообразование, удивительно напоминающее также ареальное структурно близкое новообразование на соседней — германской почве, франк. *ni-g-ein* 'ни один', что позволяет говорить об элементах языкового союза (там же параллели с других славянских периферий, см. [Трубачев 1959: 28 и сл.]; вышло также в немецком переводе [Trubačev 1977: 247 и сл., особ. 271 и сл.]).

Четкого лингвогеографического аспекта, как я уже сказал, мы не нашли и у наших маститых критиков Шахматова (см. [Филин 1972: 37, 43, 54]), где критика идет по другим параметрам, а шахматовское понимание «переходных говоров и говора Москвы» даже вызывает одобрение. Ниже мы коснемся этих важных понятий.

То, что обычно называют лингвистической географией у нас, есть скорее наука о распределении фонетических и морфологических типов в рамках одного языка и одного времени, тогда как классическое понимание лингвистической географии — **историческая география слов** (нем. Wortgeographie) [Трубачев 1959: 21]. К сожалению, столь отличная трактовка (лингвистическая география как **описательная диалектология**) никем и никогда не оговаривалась, по крайней мере мне об этом ничего неизвестно. Не вполне ясны и мотивы; можно разве что предполагать, что в этом повинен все тот же одновременный (с 50-х гг.) «бум» описательно-структуралистских направлений, при упадке сравнительно-исторического языкознания у нас? [Трубачев 1987: 20]. Я допускаю, что серьезные исследователи все же испытывали определенное неудобство от означенного несоответствия, о чем могут свидетельствовать попытки как-то «развести» собственно диалектологию и лингвистическую географию, ср. [Горшкова 1968: 9, 48; 1972: 37], где говорится об исторической лингвогеографии как отделе исторической диалектологии, а карты лингвистических атласов квалифицируются как «источник исторической лингвогеографии».

И хотя эти вялотекущие поиски, может быть, продолжаются, мы наблюдаем объективно наличествующие негативные следствия вышеназванного взаимонаплыва или смешения понятий. Именно так приходится воспринимать случаи прямолинейного отождествления также изоглоссы, с одной стороны, и диалектной границы, даже госграницы — с другой, тогда как необходимо (в духе лингвистической географии) исходить — как минимум — из относительности и проницаемости всех границ, в их числе — диалектных [Трубачев 1959: 16]. Здесь остается вспомнить, что подобные прямолинейные трактовки

ярко выражены уже у Шахматова, который не довольствуется проникновением самого явления — аканья — на белорусский Запад с Востока, но рисует целую восточнорусскую «иммиграцию» в Белоруссию как источник и носитель аканья [Шахматов 1910: 177; 1915: XLIII]. В другом случае у него речь идет о «наводнении всей Белоруссии и радимичами и вятичами» [Шахматов 1916: 110]. Мы сейчас в языкознании довольно реально себе представляем, что то же «аканье» вряд ли импортировали таким буквальным образом, подобно тому как и археологи считаются с миграцией моды на те или иные артефакты и обычаи, а не с обязательной миграцией самих носителей артефактов или обычаев. Преувеличенное отождествление пучков изоглосс юго-западной зоны и границы Великого княжества Литовского XIV в. [Образование сев.-русс. наречия 1970: 11 и *passim*] тоже похоже на признание единственного свойства изоглосс — совпадать с госграницей и не нарушать ее. Отождествление изоглоссы и госграницы см. также и [Касаткин 1999, Введение, *passim*].

Огромную проблему лингвистической географии представляет определение **инновационного центра** языкового ареала. То, что мы имеем по этому вопросу в нашей литературе, объективно является отождествлением, или подменой инновационного центра центром политическим, административно-территориальным. Собственно говоря, именно в этом последнем смысле понимает «говор центра» Р. И. Аванесов (см. [Аванесов 1947: 156]), когда помещает центр русского глоттогенеза в Северно-Восточной Руси [Там же: 109]. Это понимание владимирско-поволжской группы как диалектной зоны центра возымело популярность в последующие годы [Горшкова 1968: 180, 182; 1972: 105], ср. и [Русская диалектология 1989: 193]: «В основу русского литературного языка лег диалект Ростово-Суздальской земли». Вариации на тему наблюдаются в тех случаях, когда делаются попытки совместить говоры «центра» и «территорию говор, окружающих Москву» [Захарова, Орлова 1970: 59, карта № 7].

Но к чести наших конкретных исследователей-диалектологов нельзя не отметить случаев как бы интуитивного нащупывания также того, что можно назвать действительно инновационным центром. Сюда относится выделение курско-орловской группы южновеликорусского наречия между 35° и 37° восточной долготы с диссимилятивным яканьем суджанского типа [Захарова, Орлова 1970: 130 и сл.], ср. еще о диссимилятивном аканье и его центре — [Аванесов 1949: 66, 301]. Вообще с аканьем связывали идею лингвистического центра уже давно, ср. «сильно акающий центр», по А. И. Соболевскому охватывающий Орловскую, Калужскую, Тульскую, Рязанскую,

Тамбовскую, Курскую, Воронежскую губернии [Котков 1951а: 17]. Здесь необходимо вспомнить тезис Шахматова об исконности южно-великорусского (орл. и др.) аканья, сравнительно с белорусским [Котков 1951а: 58–59]. Собственно говоря, можно было бы говорить об общепринятости или во всяком случае распространенности мнения об аканье как явлении центра древнего восточнославянского ареала, ср. [Георгиев *etc.* 1968: 92]. Равным образом обращает на себя внимание признание центрального, в сущности, характера «курско-орловской группы южного наречия» [Русская диалектология 1964: 274]. Смутными исканиями в том же направлении, кажется, были шахматовские поиски (в его терминах) восточнорусского, иначе — среднерусского — наречия на Верхнем Дону и Северском Донце, с аканьем [Трубачев 1997: 97]. В этой связи можно указать на Окско-Донской водораздел с его скоплением удивительно архаичных славянских гидронимов: *Снова, Калитва, Идолга, Щигор, Иловай, Излегоща, Толотый* [Трубачев 1994: 9] — случай, когда архаизмы периферийного вида как бы подступают к искомому языковому центру, парадокс в вятичском духе, поскольку нигде больше в восточнославянском ареале феномены центра и периферии, испытавшей и расширение и сжатие, мы как будто в такой близости не наблюдаем. В. В. Седов заинтересовался у Трубачева архаической славянской гидронимией на днепровском левобережье и на Дону и связывает их с волынцевской и роменско-боршевской, то есть вятичскими археологическими культурами [Седов 1999: 61], но в поисках восточнославянского центра (очага) в работах того же автора сомневается, помещая, впрочем, примерно там и ареал этнонима RUIZI Баварского географа и Русский каганат [Там же: 19, 64, 73]. В общем, как говорится, время рассудит.

Многие помнят, возможно, какому суровому критическому разбору подверглись две книги Г. А. Хабургаева — „Этнонимы 'Повести временных лет' в связи с задачами реконструкции восточнославянского глоттогенеза“ (М., 1979) и „Становление русского языка“ (М., 1980), см. [Shevelov 1982: 353 и сл.]. Книги эти, действительно, представляли странную смесь археологии с диалектологией, порой также — с недоброкачественной этимологией и реконструкцией. Но главный приговор был вынесен рецензентом даже не за это: „Если бы Х<абургаеву> удалось этот центр (иррадиации многих процессов языкового развития. — О. Т.) определить, это было бы его большой заслугой. Но он не пытается это сделать; как кажется, он даже не видит этой проблемы» [Там же: 361]. Да, этой проблемы не видели, и за этим стоял уровень лингвогеографических изучений.

Может быть, стоит поэтому, а также в связи с некоторыми серьезными наметками и высказываниями, процитированными уже выше, присмотреться, в частности, к курско-орловской группе говоров, удобно выделенной на диалектологической карте 1964 года и на диалектологической карте русского языка в Европе 1914 года, см. [Русская диалектология 1989, форзацы]. Трагизм проблемы, если можно так выразиться (хотя трагизма русской науке вообще не занимать, и даже в нашем сжатом очерке эта тема звучит уже дважды), выразился в данном случае в том, что в известной работе И. В. Сталина 1950 г. содержался тезис о курско-орловском диалекте как основе русского национального языка. Как всегда у нас, славословия вдруг резко потом оборвались, в последующий период воцарилось тяжкое табу над этой темой, проблемой и в целом — над поисками центра [Трубачев 1982–1997]. Как водится в таких случаях, с водой выплеснули и ребенка. Серьезный историк русского языка С. И. Котков, подготовивший диссертацию об орловских говорах, оказался легкой мишенью для всяческой критики. А между прочим, речь шла о работе, пролившей много света не только на орловские говоры, их состояние и разностороннюю историю, более того, исправившей немало застарелых перекосов в оценке отношений **северновеликорусский — южновеликорусский — общенародный** (национальный, литературный) язык. Мы не раз и не два обратимся еще к этой диссертации и другим работам Коткова. Некоторые пассажи оттуда явно заслуживают воспроизведения. Например: «В массе орловских говоров они (формы им. пад. мн. числа на *-а* муж. рода — *О. Т.*) охватывают в основном тот же словарный круг, какой находим в литературном языке и широком просторечии... *берега́, бокá, верхá, ветра́, вечера́, волосá, ворота́, глаза́, годá, городá, дома́, закрома́, колокола́, лесá, лугá, номера́, погребá, поезда́, рога́, рукава́, снега́, сорта́, тока́, тракторá, триера́, хлеба́, холода́*» [Котков 1951а: 626]. Ср. данные [ДАРЯ II, карты №№ 24, 25, 27, а также Комментарии], фиксирующие преимущественно «северное» окончание *-ы[и]*. Не менее информативно, далее, наблюдение об окончании род. пад. ед. числа на *-в-* (*другово, синево, моево*), которое **считается характерным для северновеликорусского**, а в действительности господствует в орловских говорах, согласно результатам обследования [Котков 1980: 135]. Констатируется несколько бóльшая близость южновеликорусских говоров к общенародному языку в области синтаксиса, чем это имеет место в отношении северновеликорусского [Там же: 107]. При этом речь не ведется о прямолинейной иррадиации центральнодиалектное → общенарод-



ное, а о «перемалывании» курско-орловского в общенародное [Котков 1951а: 755–756].

Но центральным было и остается явление аканья, центральным как по структурной характеристике и важности ввиду охвата также общенародного (национально-литературного) языка, так и по своей центральнодиалектной принадлежности, и это признается разными авторами, ср. [Горшкова 1972: 125] — о первоначальной территории акающего диалекта, включающей курско-орловские и соседние говоры, см. также уточнение, что для орловских говоров характерны «примерно те же безударные гласные, что и литературная речь» [Котков 1951а: 428]. Центральноюжновеликорусский характер отмечается и для диссимилятивного аканья, см. [Аванесов 1949: 301 и сл., там же карта И. Г. Голанова], ср. и [Русская диалектология 1989: 44], уточнение границ диссимилятивного аканья в сторону их расширения, сравнительно с [ДАРЯ I, карта № 1], см. [Касаткина 2000], впрочем, ср. уже [Котков 1951а: 430]: «Восточная граница диссимилятивного аканья в Орловской области не выходит за восточные пределы диссимилятивного аканья суджанского типа». Примерно на тот же центр наслаивается диссимилятивное яканье: Курск–Орел–Смоленск [ДАРЯ I, карты №№ 3, 8; Захарова, Орлова 1970: 74]. Эти диссимилятивные преобразования безударного вокализма, честь открытия которых принадлежит Шахматову [Макаров 2000: 183], типа диалектных *с[ъ]в́а́, тр[ъ]в́а́* [Русская диалектология 1989: 45], курск., льговск. *жыльзо, жына, жыра* [Шахматов 1910: 700 и сл.], *жыла́ши, цына́* [Котков 1951а: 141, 291], *вьда́, жыра́, шыга́ть* [ДАРЯ I, карты №№ 1, 2; Программа: 199], в ограниченном, правда, объеме и не надолго, проникли и в стандартнолитературную орфоэпию, ср. пресловутые «сценические» *жыра́, шыги́* [Касаткин 199: 479, 480: как *ша<sup>в</sup>ги́, жа<sup>в</sup>ра́*], ср. уже отсутствие подобных рекомендаций в [Орфоэп. словарь 1997].

Словом, картина, в том числе пространственная, явлений (типов) аканья — яканья непростая, сложная даже для лингвиста-недиалектолога. На множественность этих типов также обратили внимание давно, ср. [Даль 1852: LXXV] о том, что, например, «в смоленском наречии акают до приторности, и аканье это усиливается на запад и юг, через Белую до Черной и Малой Руси...» Почтенный лексикограф так отозвался о том, что потом стали квалифицировать как белорусский, полный характер аканья [Шахматов 1910: 379–380]. Для срединных же, означенных выше говоров характерна пестрота типов аканья-яканья на довольно ограниченном пространстве. Все эти генетически более новые, разнообразные типы, в основном — диссимиля-

тивного аканья (яканья) — суджанский, обоянский, щигровский — все сосредоточены в зоне курско-орловских говоров, проще говоря — на курской земле, откуда и исходили эти **инновации**, знаменующие тем самым **центральность** зоны. Инновации были в известном смысле множественными, ср. сюда еще *йканье* — орловско-курское, но и среднерусское и национально-литературное [Котков 1951а: 467, 476; Русская диалектология 1964: 61]. Все это, вместе взятое создавало ту самую пестроту и неоднозначность характеристики, которую по канонам дисциплины и должен проявлять **центр лингвогеографического ареала**. Из этих черт некоторые в разном объеме устремились центробежно в более периферийные области, ср. *иканье* в московских говорах и отдельные отражения диссимилиативных явлений в самом высоком речевом стандарте, о чем кратко — выше.

Конечно, остается традиционно трудный вопрос о происхождении аканья, и здесь не могут быть, естественно, признаны достаточными и убедительными ссылки на «безболезненность» и «легкость» перехода от оканья к аканью [Аванесов 1947: 146]. Почему тогда спрашивается, не начала «акать» вся территория языка? Видимо, не стоит оставлять без внимания сопутствующий социолингвистический аспект: это была инновация, шедшая из влиятельного южного центра (самое время напомнить, что великорусский Юг превосходил великорусский Север по людскому, экономическому и другим потенциалам, о чем почему-то обычно забывают, как и об аксиоме, что история начиналась на Юге), инновация обладала авторитетом, и следовать ей, этому, пресловутому выговору «по-московски», о чем [Даль, *passim*], было престижно. Редкость ли заселения Севера, неудовлетворительность тамошних коммуникаций или какие-то более тонкие причины, но что-то все же привело к затуханию инновационной волны аканья на подступах именно к Северу. Мы и в дальнейшем будем пользоваться этой точкой отсчета: сравнительная дальность траектории волн, высылаемых инновационным центром.

Распространена концепция, датирующая аканье временем после падения редуцированных [Аванесов 1947: 138–139], и к ней, вероятно, надо прислушаться. Но вполне возможно, что дело много сложнее, и указанное падение — не единственная, а **одна из** причин, довершившая окончательное приведение в действие механизма аканья. Возможно, более широкое допущение ряда предрасположений к аканью — единственный выход из тупикового положения, в котором проблема аканья оказалась в результате ожесточенных споров. Иными словами, если даже перед нами не тот случай, когда «оба правы», то все же возможно расценить ситуацию как некий сигнал о наличии

рационального зерна во взаимоисключающих концепциях: «аканье — собственно русская инновация», «аканье — праславянский феномен». Нельзя забывать и о том, что язык древнерусской ветви славянства подвергся значительной перестройке, развертывавшейся опять-таки по законам лингвистической географии (пространственной лингвистики). Не исключено при этом, что первоначальный краткостный вокализм был у древнерусских славян, их большинства переинтерпретирован как вокализм безударный [Трубачев 1991: 69–71]. Состоялась утрата категории различения количества гласных, которой праукраинский как типичная периферия был затронут в гораздо меньшей степени, ср. имевшее в украинском место заместительное растяжение/продление, ареально близкий аналог явлению польской исторической фонетики — *wzdłużenie zastępcze*, и там, и тут — во вновь закрытых слогах. Это явление косвенно свидетельствует о древнем наличии в праукраинских диалектах количественных различий гласных. Собственно великорусский этого не знает. Ср. [Скляренко 1998: 66–67], где заместительное продление рассматривается на материале славянских языков, сохранивших количественно-интонационные различия гласных (серб.-хорв.), но не говорится об украинских данных. Какое-то отношение может иметь к проблеме аканья фактическое тождество слав. *o* и *ǫ*, даже первичность последнего [Vaillant 1950: 107, 233; Георгиев etc. 1968: 26]. Тот факт, что ослабление безударных гласных в южно-великорусском и белорусском очень поздно отразилось в письменности, говорит не только и не столько о консервативности письма [Шахматов 1908: 156; 1916: 53], сколько о том отношении взаимной компенсации, в которое вступили означенное ослабление артикуляции и консервирующая тенденция письма.

Об этом, может быть, следует сказать особо. Здесь речь пойдет, в сущности, о типологическом отличии русского языка, выделяющем его из большинства других славянских языков. **Ненапряженная** артикуляция (главным образом безударного вокализма) — яркая черта русского языка и его инновация, отделившая его даже от ближайше родственного белорусского языка. Парадокс в том, что оба эти языка объединяет общность аканья, однако в белорусском с его «полным аканьем» обозначилась такая самостоятельная черта, как **напряженная** артикуляция безударного вокализма. Результат: различия по принципу: напряженная артикуляция языка — фонетическая орфография (вспомним сербохорватский и вуковский завет «пиши као што говориш» — пиши, как говоришь), соответственно ненапряженная артикуляция языка — консервативная (историческая) орфография. См. об этом специально [Трубачев 1997, гл. III: Взгляд на

этногенез белорусов, 88–89]. Там же и наблюдение о том, что русская артикуляция, выпадая из славянской в целом, напоминает принцип английской (аналогия распространяется и на консервативность письма в обоих случаях!). В связи с отмеченным кажется несколько непонятным мнение о факультативности напряженности в славянских языках [Новое в лингвистике 1962: 204 и сл.]. Переход к менее напряженной артикуляционной базе как «общая тенденция» русского языка, в том числе в плане замены оканья аканьем, характеризуется также в [Касаткин 1999: 131, 132].

Итак, опираясь в немалой степени на предшественников, мы пришли к заключению о необходимости наличия инновационного центра, даже сосредоточились на некотором вероятии подобного центра инноваций в среднезападной части южновеликорусского пространства. Имеет смысл сохранить в дальнейшем эту точку отсчета для суждений об (остальных) частях и явлениях великорусского ареала. Из них наиболее яркая и легко выделяемая — северновеликорусская часть. Вместе с тем, заинтересовавшись **критериями выделения** северновеликорусского наречия, мы не можем не выразить сомнений на этот счет. Во-первых, оказывается под вопросом **целостность** северновеликорусского наречия (в его западной и северо-восточной частях), и это признается основными исследователями, см. [Образование сев.-русс. наречия 1970: 210]. Во-вторых, они же признают, что «выделение» «будущей территории северного наречия» намечается «на основе распространения аканья» [Там же: 225, 235]. Ведь это означает ни больше, ни меньше, как то, что основной критерий выделения — отрицательный: то, куда не дошло аканье, территория, где аканья нет, поскольку никто не станет спорить с тем, что аканье шло с юга. Интересно отметить, что характеристика южного наречия заметно контрастирует с этим, нося более конкретно-позитивный характер: неразличение безударных гласных, фрикативное *z* (*γ*), отсутствие контракции (выпадения *j*) [Русская диалектология 1964: 239]. Но и южновеликорусские отличительные признаки незначительны. Не только в среднерусских говорах, но и в южновеликорусском просвечивает «северновеликорусская» основа, говоря в терминах действующей диалектологии. Сказанное делает неактуальной оппозицию «северновеликорусский» — «южновеликорусский», поскольку ретроспективно **северновеликорусский синонимизируется (оказывается тождественным) со всем изначальным великорусским**, причем аканье/яканье — вторичные инновации языкового центра. Сейчас нельзя без некоторого удивления воспринимать оценки вроде того, что (по Шахматову) Е. Ф. Будде принадлежит «замеча-

тельный вывод» о том, что северная часть Рязанской области первоначально относилась к северновеликорусскому наречию (см. об этом [Сидоров 1966: 98 и сл.]), там же о северновеликорусском характере касимовских говоров в прошлом. Ведь в сущности ясно, что это банальная констатация хода южных инноваций, перекрывающих **первобытные** черты вроде того же оканья.

Перейдя к среднерусским говорам, мы вынуждены будем признать, что критерии их выделения не менее сомнительны, хотя высказывания в литературе в связи со среднерусскими говорами временами чрезвычайно ответственны, ср. [Горшкова 1972: 148]: только **после** образования среднерусских говоров можно говорить о **языке в целом**. Сейчас для нас подобные утверждения кажутся совершенно неприемлемыми, притом, что ясно, что они восходят к концепции «встречи» в бассейне Оки и верхнего Поволжья севернорусов и «восточнорусов» (в шахматовской терминологии — южновеликорусов) [Шахматов 1908: 25, 26], где говорится о воспоследовавшем смешении. Так, поныне действует шахматовская схема о «смешанных говорах» между северновеликорусским и южновеликорусским, их «переходном» характере [Шахматов 1908: 160, 172, 180; 1919]. Ср. следование этой концепции в [Аванесов 1947: 153; Сидоров 1966: 103; Горшкова 1972: 148]. А между тем в глаза бросается условность выделения среднерусских говоров с их распадом на акающие и окающие говоры [Русская диалектология 1964: 284, карта № 11]. Не совсем понятна, хотя и выдержана в том же духе трактовка среднерусских говоров как «окраинных» в отношении северновеликорусского и южновеликорусского наречий [Захарова, Орлова 1970: 21]. Наш вывод, к тому же сделанный отнюдь не сегодня и не вчера: концепция выделения среднерусских говоров **неясна лингвогеографически** [Трубачев 1987: 22]. Сегодня, пожалуй, складывается впечатление, что, постулируя особые среднерусские говоры, не думали не только о **центре**, но и о целостном русском языковом **ареале**, ибо есть все основания для того, чтобы задаться вопросом, не является ли то, что привычно называют среднерусскими говорами, в действительности **зоной затухания разных инновационных волн южного центра?**

Смешение языков и диалектов, как уже ясно из предыдущего, в полной мере принималось последователями Шахматова, служа заменой концепции наддиалекта. На этой основе строилось и понимание смешанных говоров городских центров, в частности Москвы (см. [Шахматов 1915: XLVIII] о смешанном говоре Москвы) — из севернорусских и «восточнорусских» элементов. По своему происхождению Шахматов представлял себе говор Москвы как северновеликорус-

ский [Макаров 2000: 207]. Все эти представления практически без изменения были восприняты последователями [Аванесов 1947: 111, 154], где также указывается на севернорусскую основу литературного языка. Впрочем, похоже, что эти идеи учителя повторялись без проверки на материале. По-видимому, духом примата севернорусской основы среднерусских говоров проникнуто положение: «Говоры на территории Московского княжества ... ничем не обнаруживают своего 'вятического' ... происхождения» [Аванесов 1947: 137]. Однако сейчас мы можем судить об этих вещах несколько конкретнее, а главное — иначе, в чем нам помогает весьма содержательный «Лексический атлас Московской области» (М., 1991), где на многих картах идут **южным фронтом** лексические диалектизмы «литературного» облика: *огород* (карта № 3), *подпол* (карта № 11), *погреб* (карта № 12), *угол* 'угол избы' (карта № 17), *заслонка* (карта № 26), *изгородь* (карта № 28), *кочерга* (карта № 34), *корчага* (карта № 39), *миска* (карта № 42), *полдник* (карта № 60), *навес* (карта № 64), *оглобля* (карта № 74), *волокуша* (карта № 78), *чернушка* 'гриб груздь черный' (карта № 83), *сыроежка* (карта № 84), *свинушка* (карта № 88), *подберёзовик* (карта № 91), *молодняк* 'молодой лес' (карта № 93), *хворост* 'мелкий лес' (карта № 94), *сосняк* (карта № 100), *корзина* (карты №№ 130, 131), *корзинка* (карта № 132), *беседа* 'изба ... на посиделки' (карта № 136). Остается при этом вспомнить широкий археологический клин вятичей XI–XIII вв. с Юга, захватывающий все «ближнее Подмосковье», включая Москву, по В. В. Седову [Войтенко 1991: 61], сведения о чем уже приводились выше.

В плане лингвистической географии русский Север обнаруживает свойственные периферии архаизмы, причем немаловажно, что явления этой северной периферии перекликаются с другой периферией, южной, с аналогичными украинскими явлениями. Очевидно, что это проявление единого большого ареала, охватывавшего все позднейшие восточнославянские языки. Сюда относится сохранение звонкости согласных в конце слова в украинском и в некоторых северновеликорусских диалектах [Филин 1972: 335, 336; Касаткин 1999: 134, 137, 138], при подавляющем оглушении звонких согласных в конце слова после падения редуцированных в центре ареала, а также широко за его пределами. Отверждение согласных перед *e* и *i* в украинском [Шахматов 1908: 156], по Шахматову, — позднейшее [Шахматов 1910: 16; 1915: 127], ср. подавляющее отсутствие отверждения согласных перед *e* и *i* в великорусском [Шахматов 1908: 158], обнаруживает, однако, знаменательные соответствия в виде твердости согласных перед передними гласными на архаизирующей север-

ной периферии, о чем см. уже [Шахматов 1915: 128]: в Судогодском уезде. Об „отвердении согласных“ в этой позиции говорят и современные исследователи, указывающие на ряд северновеликорусских, вологодских говоров [Горшкова 1968: 88; Касаткин 1999: 150, 170; ДАРЯ I, карта № 65]. Вот только „отверждение“ ли это или древняя твердость, сохранившаяся на архаизирующих перифериях (укр., с.-в.-р.), несмотря на все доводы Шахматова о вторичности украинского отвердения? Ср. и [Касаткин 1999: 170]: „старое состояние“.

Более строгий и последовательный учет лингвогеографического аспекта в сочетании со сравнительно-историческим критерием способен, очевидно, внести коррективы в изучение диалектов на всех уровнях, в частности, в области периферийных архаизмов морфологического и лексического характера. Знакомство с тем, что сделано, показывает реальность таких коррективов, ср., например, отнесение форм мн. числа ср. рода *око́шка*, *теля́тка* к числу северновеликорусских „инноваций“ [Образование сев.-русс. наречия 1970: 218–219, карта № 63]. Ясно, со всех точек зрения, что это **архаизм**.

Досадное урезание картографируемого русского диалектного пространства примерно к северу от 62-й параллели составителями наших диалектологических атласов, которое невозможно оправдать никакой „редкостью заселения“ и в результате которого из общего поля зрения как бы выпал поморский Север, освоенный тысячу лет назад, лишило нас многих полезных наблюдений и материалов, и это касается архаизмов периферийной лексики. К счастью, положение отчасти помогают поправить дополнительные работы вроде „Лексического атласа Архангельской области“ Л. П. Комягиной [Комягина 1994] тем более, что лексическая сторона диалектов в общем традиционно несколько недооценивалась нашими диалектологами и составителями центральных атласов. Так, древнее диал. *клюка* 'кочерга', как будто не учтенное в ДАРЯ III (лексика), фиксируется в [Комягина 1994: 204, карта № 170] и обратило на себя внимание еще Даля, который охарактеризовал курьезным образом наше северное слово как „малорусское“ [Даль 1852: LII], что позволяет определить в современных терминах отношение с.-в.-р. *клюка* и укр. *клюка* как периферийные, латеральные архаизмы еще общевосточнославянского ареала.

Составители ДАРЯ оставили, кажется, без внимания русское продолжение еще праславянского слова *\*koporul'a*, обозначение заостренной палки, мотыги, лопатки и т. п., см. о нем [Варбот 1974: 56 и сл.; ЭССЯ 11: 21 и сл.]. Его продолжения и на русской почве ведут себя как архаизм, ср. диал. (арханг.) *копоруля* [Комягина 1994: 154,

карта № 20], а также диал. (моск.) *копырюля* [Войтенко 1991: 134; 1997: 50]. Эти отношения были бы неполными без архангельских данных.

Чрезвычайно интересен случай, привлечший наше внимание уже давно и призванный восполнить одну из лакун сводного центрального атласа. Имеется в виду еще праславянский лексический диалектизм (локализм) *\*kьrmyslь/\*čьrmyslь*. Первый вариант известен только в восточнославянском (русс., укр., блр.), зафиксирован также в древнерусских памятниках, второй — *\*čьrmyslь* — обнаруживает продолжения только в кашубских говорах, и там, и тут — в значении 'приспособление для ношения, подвешивания', см. специально [Трубачев 1974: 35 и сл., 1987: 22–23; ЭССЯ 4: 149; ЭССЯ 13: 228–229]. Карты «коромысло, коромысел» в кратком, сводном ДАРЯ, к сожалению, не оказалось. См. только косвенные данные в других тематических картах №№ 29, 52 [ДАРЯ III (лексика) и Комментарии], однако специальная карта на тему этого слова оказалась важной, в частности, для лексики литературного языка и для проблемы среднего рода в том числе, поэтому я позволил себе опубликовать здесь имеющуюся у меня карту, основанную как на «Атласе русских народных говоров центральных областей к востоку от Москвы» (М., 1957, сводная карта № 13), так и на неизданных томах («З», карта № 358; «С», карты №№ 368, 369; «С–З», карта № 150; «Ю», карта № 257). Смею надеяться, что публикуемая карта (см.) представляет не только «архивный» интерес, ибо уже с первого взгляда видно, что карта «получилась» в соответствии с самыми строгими требованиями лингвистической географии. На ней четко представлены две главных периферийных (латеральных) зоны с продолжениями более древней формы муж. рода *\*kьrmyslь* — западная, сопредельная с однотипными украинскими и белорусскими данными, и восточная, несколько более прерывистая (вообще фиксация здесь восточной периферии в принципе интересна). Основной же сюжет карты — выявление подобия неширокого коридора, вытянутого в направлении ЮЗ–СВ, в южновеликорусских говорах, с расширением в средневеликорусских говорах и с абсолютным господством в северновеликорусском. Всю эту центральную фигуру занимает **инновационная форма ср. рода *коромы́сло***. Кроме историколингвистического и, может быть, культурно-исторического значения этих сведений по истории вариантов *коромы́с(ел)* ~ *коромы́сло*, здесь проступает и аспект общей судьбы **среднего рода, об утрате которого** в южновеликорусском обычно идет речь, ср. обо «всех» орловских говорах [Котков 1951а: 567], о морфологических «рзанизмах» типа *какáйя молоко́* — к востоку от



меридиана Орел — Курск [Захарова, Орлова 1970: 105, карта № 18<sup>б</sup>]. Случай довольно мощной и влиятельной инновации *коромысло* ср. рода, попавшей в литературный язык и иррадиированной все тем же Югом, как кажется, может свидетельствовать, что упомянутая «утрата среднего рода» — инновация совсем новая, уже не дошедшая до литературного языка.

Давно назрела необходимость пересмотра привычных утверждений о существовании лексических оппозиций типа с.-в.-р. *изба* — ю.-в.-р. *хата*, с.-в.-р. *конь* — ю.-в.-р. *лошадь* и т. п. Эти оппозиции, к тому же, бываю́т призваны подкреплять далекоидущие выводы о преимущественно северновеликорусской основе русского национального языка, — выводы, также заслуживающие пересмотра. По этой проблеме уместно широко процитировать С. И. Коткова, который в наибольшей степени способствовал пересмотру укоренившихся традиций и показал значительность южновеликорусского вклада в общенародный язык, даже несмотря на относительно поздний возраст южновеликорусской письменности (в основном — с XVI в.). Исследования, в частности, показали, что так называемые «типично северные» слова *вить*, *изба*, *кулига*, *конь*, *петух*, *лонской* — все обнаружены в старой южновеликорусской деловой письменности [Котков 1980: 7, 23, 129]. Сказанное относится почти ко всем якобы северным словам, ср. по данным южновеликорусской письменности XVI–XVII вв. о наличии там слов *изба*, *хлев*, *конь* уже в [Котков 1951а: 749]. Столь же пресловутая оппозиция с.-в.-р. *сарафан* ~ ю.-в.-р. *понёва* тоже элементарно не выдерживает исторической да и ареальной экспертизы. *Сарафан* первоначально обозначало, к тому же, общую или мужскую одежду, см. [СлРЯ XI–XVII вв., 23: 64], в качестве названия женской одежды зафиксировано вторично с XVII в. Важно также иметь в виду, что слово, в конечном счете, **пришло с Юга**, заимствовано из персидского языка [Фасмер 1996, III: 561; Черных 1994, II: 140].

В шахматовском наследии довольно видное место занимает еще одно положение, которое вряд ли может быть сохранено, хотя оно и продолжает сохраняться в литературе предмета без должной критики: это концепция великорусской народности как суммы двух различных групп, в терминах ученого — севернорусской и «среднерусской», то есть южновеликорусской [Шахматов 1899: 38], концепция всего великорусского как «результата позднейшего сожительства» [Шахматов 1916: 107]. Эта двухнаречная схема великорусской народности и языкового ареала (хотя современное понятие «языкового ареала» вообще вряд ли подходит для подобной концепции) излагалась

ученым порой очень императивно, например: «... великорусская народность — это научная фикция...» [Шахматов 1899: 48], общность языка и народа он относит «только к позднейшей эпохе жизни обеих групп» [Шахматов 1910: 501], всячески акцентируя исконное отличие друг от друга северновеликорусской и южновеликорусской групп [Там же: 498, 501], разумеется, с последующим сближением и смешением [Шахматов 1899: 8]. Я не буду больше вдаваться в критический разбор этого положения, которое до сих пор числят среди достижений ученого [Макаров 2000: 199]. Как бы то ни было, это, по-видимому, произвело сильное впечатление в свое время и оставило глубокий след до сих пор.

Влияние Шахматова было огромно; под него подпала и молодая украинская диалектология. Собственно, уже сам великий ученый распространил свою двухнаречную схему, признав деление украинского языка на две ветви — северную и южную — исконным [Шахматов 1899: 7]. Мне и раньше приходилось писать о том, что подобная двухнаречная схема со смешанными или переходными говорами между этими наречиями надолго, если не навсегда, отодвинула поиски жизненно важного центра ареала [Трубачев 1997: 93, 95]. Именно на этой почве взошла гетерогенная версия русского глоттогенеза Хабургаева 1980 г., обретшая незаслуженную популярность в смежных дисциплинах (ср. [Седов 1982: 273]), хотя ведь совершенно очевидна сомнительная теоретическая ценность такого прибавления в нашей науке. Но шахматовский «первотолчок» все еще действует, поскольку попытки софистизировать проблему состава (древне)русского языкового ареала не прекращаются, вспомним искания вокруг древненовгородского диалекта, который в новых исследованиях порой оказывается уже не русским, а (пра)славянским без объективной на то надобности. Искренние помыслы великого ученого, которого отделяет от нас — скоро уже — доброе столетие, все же, думается, не подлежат эпигонскому тиражированию, требуя трезвого рассмотрения, тем паче — запоздалые опыты в том же духе.

Чтобы покончить с украинским экскурсом, вспомним о «Диалектологической классификации украинских говоров» В. Ганцова 1923 года, относимой поныне к классике в этой области: диалектное деление украинской языковой территории на северные и южные говоры с говорами переходного типа между ними, все это — с полными русскими аналогиями [Ганцов 1923: 54, 55, 56, 58 с картой]. В конце концов, Ганцов и сам признает «извечное отличие» двух наречий украинского языка и их прозрачную аналогию отношениям се-

верновеликорусского и южновеликорусского пересадкой шахматовского учения на украинскую почву [Там же: 64].

Возвращаясь, в заключение своего очерка, к идее **сложного состава древнерусского пространства и языка**, вижу, что будет отнюдь не лишним повторить, что эта сложность (как и полидиалектность) отнюдь не противоречит идее единства и уж, разумеется, не «взламывает» ее. При этом мы как вновь возвращаемся именно к идее единства — на новом этапе. Разумеется, далее, на этом новом этапе не может быть речи о синонимичности этого единства и «монолитности», поскольку наше единство, обогащенное идеей полидиалектности, ну, и само собой — всем комплексом идей лингвистической географии, о котором достаточно — выше, просто запрещает имплицировать эту монолитность или, скажем, приписывать ее нам. Так что ни о какой альтернативе — или «монолитность», или поиски особой ниши для древненовгородского «просто как диалекта поздненепраславянского языка» [Зализняк 1995: 5] — речь вестись не должна, тем более — для эпохи XII–XIII вв.! Ср. еще [Трубачев 1999: 11]. Поэтому сейчас сражаться с «концепцией правосточнославянского языка как генетически монолитного...» [Зализняк 1988: 176] не стоит, ведь так сейчас, пожалуй, никто уже активно не думает, что же до различий, скажем, между славянокривичским и югозападнорусским, то современной концепции сложного единства (см. выше) они несколько не противоречат, укладываясь в понятие периферий древнерусского лингвогеографического ареала. Оживлять для этого идеи новгородско-севернокривичско-западнотурецкой (лехитской) близости тоже не требуется. Тем более — оперировать для этого явными общими архаизмами вроде сохранения *dl* на Северо-Западе русского ареала и на Западе славянства ввиду общеизвестной непоказательности общих архаизмов для общих переживаний или «общего» непалатализованного наличия *kě-*, *xě-*, *kvě-*, где филигранная историко-диалектологическая проверка восстанавливает вероятность развития русск. диал. *квет* < *t'vѣt* < *цѣѣt* (так еще Шахматов!) и *кедить* из *цедить* и псковск. диал. *малакó тѣла 'цело'*, то есть **псевдоархаизмы** [Страхов 1999: 287; Шустер-Шевц 1998: 3 и сл.].

С другой стороны, никогда не лишне помнить нечасто повторяемые идеи о восточнославянском как сугубой периферии всего славянского ареала, взять хотя бы архаичность (sic!) канонически послеметатезной формулы *torot, tolot (tarat, talat)*, а не *tort, tolt*, для чего, конечно, желательна инновативность лингвистического мышления, а не его архаичность, удобно укладывающаяся в накатанную колею.

## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Аванесов Р. И.* 1947 — Вопросы образования русского языка в его говорах // Вестник МГУ 1947. № 9.
- Аванесов Р. И.* 1949 — Очерки русской диалектологии. Часть первая. М., 1949.
- Бородина М. А.* 1968 — Лингвистическая география // Теоретические проблемы советского языкознания. М., 1968.
- Варбот Ж. Ж.* 1974 — К реконструкции и этимологии некоторых праславянских глагольных основ и отглагольных имен. II / Этимология. 1972. М., 1974.
- Войтенко А. Ф.* 1991 — Лексический атлас Московской области. М., 1991.
- Войтенко А. Ф.* 1997 — Лексические различия на территории Московской области (лексикографическая, лексикологическая и лингвогеографическая характеристики): Дис. ... док. филол. наук. М., 1997.
- Ганцов В.* 1923 — Диалектологічна класифікація українських говорів, Київ, 1923 (Nachdruck von R. Olesch. Köln, 1974).
- Георгиев В. И. etc.* 1968 — Георгиев В. И., Журавлев В. К., Филин Ф. П., Стойков С. И. Общеславянское значение проблемы аканья. София, 1968.
- Горшкова К. В.* 1968 — Очерки исторической диалектологии Северной Руси (по данным исторической фонологии). [М.], 1968.
- Горшкова К. В.* 1972 — Историческая диалектология русского языка. М., 1972.
- Даль В. И.* 1852 — О наречиях русского языка, по поводу Опыта областного великорусского словаря, изданного Вторым отделением имп. Академии наук. Из V книжки «Вестника Имп. Русского Геогр. Об-ва за 1852 г., с небольшими поправками против первого изд. // В. Даль. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. I. М., 1955 (со второго изд. 1880–1882 гг.).
- ДАРЯ I 1986 — Диалектологический атлас русского языка. Центр Европейской части СССР. Вып. I: Фонетика / Под ред. Р. И. Аванесова и С. В. Бромлей. М., 1986.
- ДАРЯ II 1989 — Диалектологический атлас русского языка. Центр Европейской части СССР. Вып. II: Морфология / Под ред. С. В. Бромлей. М., 1989.
- ДАРЯ III 1996 — Диалектологический атлас русского языка (Центр Европейской части СССР). Вып. III (часть 1) / Под ред. О. Н. Мораховской. М., 1996.
- Диал. исследования* 1977 — Диалектологические исследования по русскому языку. М., 1977.
- Зализняк А. А.* 1988 — Древненовгородский диалект и проблемы диалектного членения позднего праславянского языка // Славянское языкознание. X Международный съезд славистов. Доклады советской делегации. М., 1988.
- Зализняк А. А.* 1995 — Древненовгородский диалект. М., 1995.
- Зализняк А. А.* 1998 — Проблемы изучения берестяных грамот // Славянское языкознание. XII Международный съезд славистов. Доклады российской делегации. М., 1998.
- Захарова К. Ф., Орлова В. Г.* 1970 — Диалектное членение русского языка. М., 1970.
- Касаткин Л. Л.* 1999 — Современная русская диалектная и литературная фонетика как источник для истории русского языка. М., 1999.

- Касаткина Р. Ф.* 2000 — Южнорусское наречие. Новые данные // ВЯ. 2000. № 3.
- Комягина Л. П.* 1994 — Лексический атлас Архангельской области. Архангельск, 1994.
- Котков С. И.* 1951а — Говоры Орловской области (фонетика и морфология): Дис. ... док. филол. наук. Т. I–II. М., 1951.
- Котков С. И.* 1951б — Из истории изучения орловских говоров. Говоры Орловской области со стороны их вокализма // Уч. зап. Орловского гос. пед. ин-та, Т. V, Вып. 2. Орел, 1951.
- Котков С. И.* и др. 1978 — Памятники русской письменности XV–XVI вв. Рязанский край / Издание подгот. С. И. Котков, И. С. Филиппова. М., 1978.
- Котков С. И.* 1980 — Лингвистическое источниковедение и история русского языка. М., 1980.
- Макаров В. И.* «Такого не бысть на Руси прежде». Повесть об акад. А. А. Шахматове. СПб., 2000.
- Новое в лингвистике 1962 — Новое в лингвистике. Вып. 2. М., 1962.
- Образование сев.-русс. наречия 1970 — Образование севернорусского наречия и среднерусских говоров по материалам лингвистической географии. Отв. ред. В. Г. Орлова. М., 1970.
- Орфоэп. словарь 1997 — Орфоэпический словарь русского языка. Произношение, ударение, грамматические формы. Около 65000 слов / Под ред. Р. И. Аванесова. 6-е изд., стереотип. М., 1997.
- Русская диалектология 1964 — Русская диалектология / Под ред. Р. И. Аванесова, В. Г. Орловой. М., 1964.
- Русская диалектология 1989 — Русская диалектология / Под ред. Л. Л. Касаткина. 2-е изд. М., 1989.
- Сидоров В. Н.* 1966 — Из истории звуков русского языка. М., 1966.
- Склярченко В. Г.* 1998 — Праслов'янська акцентологія. Київ, 1998.
- СлРЯ XI–XVII вв. — Словарь русского языка XI–XVII вв. Вып. 1–, М., 1975–.
- Страхов А. Б.* 1999 — Новгородские и псковские «переходы» *ml' > n', tl > kl, dl > gl*: альтернативные решения // PALAEOSLAVICA VII, 1999.
- Трубачев О. Н.* 1959 — Лингвистическая география и этимологические исследования // ВЯ. 1959. № 1.
- Трубачев О. Н.* 1974 — Наблюдения по этимологии лексических локализмов (славянские этимологии 48–52) // Этимология. 1971. М., 1974.
- Трубачев О. Н.* 1987 — Регионализмы русской лексики на фоне учения о праславянском лексическом диалектизме // Русская региональная лексика XI–XVII вв. М., 1987.
- Трубачев О. Н.* 1991 — Этногенез и культура древнейших славян. Лингвистические исследования. М., 1991.
- Трубачев О. Н.* 1994 — Праславянское лексическое наследие и древнерусская лексика дописьменного периода // Этимология 1991–1993. М., 1994.
- Трубачев О. Н.* 1997 — В поисках единства. Взгляд филолога на проблему истоков Руси. 2-е изд. доп. М., 1997.
- Трубачев О. Н.* 1982–1997 — Отзыв официального оппонента о диссертации Н. И. Панина „Лексикосемантический и формантный анализ русских наименований текучих вод Окско-Донской равнины и прилегающих территорий“,

- представленной на соискание ученой степени кандидата филологических наук. М., 1982, и дополнения 1997 (ркп.).
- Трубачев О. Н.* 1998 — Славянская филология и сравнительность. От съезда к съезду // Славянское языкознание. XII Международный съезд славистов. Доклады российской делегации. М., 1998.
- Трубачев О. Н.* 1999 — Славистика на XII Международном съезде славистов (краткий обзор) // ВЯ. 1999. № 3.
- Фасмер М.* 1996 — Этимологический словарь русского языка в четырех томах / Перевод с нем. и доп. О. Н. Трубачева. 3-е изд., стереотип. СПб., 1996.
- Филин Ф. П.* 1972 — Происхождение русского, украинского и белорусского языков. Историко-диалектологический очерк. Л., 1972.
- Черных П. Я.* 1994 — Историко-этимологический словарь современного русского языка. Т. I–II. М., 1994.
- Шахматов А. А.* 1899 — К вопросу об образовании русских наречий и русских народностей // ЖМНП. 1899, апрель.
- Шахматов А. А.* 1908 — Курс истории русского языка. Ч. I, 2-е изд. СПб., 1908.
- Шахматов А. А.* 1910 — Курс истории русского языка. Ч. II. СПб., 1910.
- Шахматов А. А.* 1915 — Очерк древнейшего периода истории русского языка // Энциклопедия славянской филологии. Пг., 1915 (Вып. II.1).
- Шахматов А. А.* 1916 — Введение в курс истории русского языка. Ч. I: Исторический процесс образования русских племен и наречий. Пг., 1916.
- Шахматов А. А.* 1919 — Древнейшие судьбы русского племени. Пг., 1919.
- Шустер-Шевц Х.* 1998 — К вопросу о так называемых праславянских архаизмах в древненовгородском диалекте русского языка // ВЯ. 1998. № 6.
- ЭССЯ — Этимологический словарь славянских языков 1–. М., 1974–.
- Lehr-Splawinski T.* 1921–1957 — Stosunki pokrewieństwa języków ruskich // Rocznik slawistyczny IX, I, 1921 // T. Lehr-Splawinski. Studia i szkice wybrane z językoznawstwa słowiańskiego. Warszawa, 1957.
- Shevelov G. J.* 1982 — Между праславянским и русским // RL. 1982. № 6.
- Trubačev O. N.* 1977 — Sprachgeographie und etymologische Forschungen // Etymologie. Darmstadt, 1977.
- Vaillant A.* 1950 — Grammaire comparée des langues slaves. T. I. Phonétique. Paris, 1950.

